

С.Глаголев

О графе Льве Николаевиче Толстом профессор Сергей Сергеевич Глаголев

9-го ноября прочитав одну очередную лекцию и придя снова в аудиторию, чтобы читать другую, я нашел на кафедре обращенную ко мне записку: „просим вас сказать свое слово по поводу смерти Льва Николаевича Толстого“. Желание студентов в данном случае выслушать меня – православного апологета – я нашел естественным и законным. Я сказал то, что думал о Толстом. Но застигнутый врасплох предложением своих слушателей я, понятно, излагал свои мысли не в систематической и литературной форме и опустил нечто, что, мне кажется, следовало бы добавить. Теперь я печатаю свою речь, сообщая ей лишь некоторую отшлифовку и небольшие дополнения, но не изменяя её существа и не снабжая ее никакими дополнительными справками.

О чем бы ни говорил человек, он чаще всего в своей речи начинает с самого себя, свое „я“ делает исходным пунктом своего рассуждения. И это не по самомнению, а потому что нельзя уйти от самого себя и все вне себя знаешь лишь постольку, поскольку оно прямо или косвенно соприкасалось с тобою. Вот почему я прошу Вас не удивляться, что, начиная речь о Толстом, я стану говорить о самом себе. И я заранее уверен, что Вы не удивитесь тому, что, продолжая эту речь, я буду часто обращаться к предмету наших занятий, к нашей школе, к её идеалам.

Л. Н. Толстой – уроженец и житель крапивенского уезда, большую часть своей жизни он провел в Ясной Поляне и покинул ее лишь затем, чтобы умереть. Я – уроженец г. Крапивны, до 20 лет мои интересы привязывались главным образом к этому моему родному городу. Сочинения Толстого я начал читать, лишь только выучился читать. Думаю что это скажут все крапивенские школьники моего поколения. Книгами для чтения Толстого тогда были наполнены библиотеки наших начальных школ. И в моей памяти осталось, что эти книги с захватывающим интересом читали и взрослые („Бог правду видит, да не скоро скажет“, „Кавказский пленник“). В 1876 г. мне пришлось увидеть Толстого на уроках в крапивенском уездном училище. Мне было тогда 10 лет, потом я его уже не видел более. Помню разговоры об этом толстовском посещении школы. В Толстом видели тогда прежде всего и прямо барина, имеющего

право интересоваться чем ему угодно, а потом и косвенно ревизора. Сочинения Толстого циркулировали в Крапивне. На меня десятилетнего произвели сильное впечатление „детство“ и „отрочество“ и особенно один рассказ о самоубийстве какого-то графа (кажется, рассказ маркера). Потом я не перечитывал их. Вообще, за исключением особых случаев, вызванных желанием что либо проверить или выяснить относительно Толстого я никогда не читал дважды одного и того же его произведения. Кажется, из его Анны Карениной, печатавшейся в Русском Вестнике, впервые я узнал о существовании атеизма и атеистов.

Толстой для крапивенцев был не только знаменитым литератором, но и местным деятелем – он был мировым посредником, членом училищного совета, земцем. Его мнения порою поражали крапивенцев, то он скажет, что земская медицина безусловно бесполезна, и что два ведра воды нужнее, чем все лекарства, то заявит, что воров не надо сажать в острог, но на этих его мнениях не останавливали надолго внимания, тем более, что он сам не проявлял упорства в их защите, а постепенно отстранялся от участия в делах уезда, обособлялся от его интересов. Постепенно он становился всемирным, но может показаться странным, что вместе с тем он переставал быть крапивенским. Когда он стал приковывать внимание всего мира, внимание его земляков стало к нему ослабевать.

Нельзя удивляться этому. То новое, что Толстой стал возвещать миру, не было новостью для его родного города. Видите ли: ново все то, что хорошо забыто. Лекция о том, что земля неподвижна, может быть сенсационною и представляться парадоксальною в Лондоне или Берлине, но когда старший брат Льва Николаевича Сергей Николаевич, крапивенский предводитель дворянства, привез в Крапивну сообщение: „брат говорит, что земля не двигается“, то какую сенсацию могло произвести это отрицание коперниковской теории в города, где очень немногие слыхали о ней, а большинство жило, совсем не подозревая о её существовании?

Точно также, какое значение могло иметь для Крапивны воспроизведение Толстым рассуждений Руссо о вреде культуры, когда во всем городе едва ли можно было найти 10 человек, знающих приведение дробей к одному знаменателю, когда учитель арифметики решил там проблему о квадратуре круга, обтянув медный пятак ниткой и потом ее вытянув и смирив, когда учитель русского языка писал здесь „кулыбель“, а местный гений, энциклопедист и вольнодумец, приобретя книги Дарвина, оставил их неразрезанными? (Толстой стал косить, пахать землю, шить сапоги и класть печи. То, что Толстой умел все это делать, не могло

удивлять крапивенцев. Многие, занимавшие в городе по своему состоянию или положению высшие места, начинали свою карьеру с нищеты, раньше, чем познакомиться с сапогами, сами плели для себя лапти. Местные представители культуры – духовные – понятно хорошо были знакомы с искусством косьбы и пахоты, ибо отцы их сами и пахали и жали. Но другой вопрос – зачем Толстой стал это делать, когда у него не было нужды? Зачем он склал печку бедной вдове и склал будто бы по её отзыву неважно („а как ему скажешь – графу-то?“), когда мог бы помочь ей деньгами? Над этим вопросом не задумывались: барское –чужачество, баловничество. Притом это чужачество не представлялось и оригинальным. Теория „опрощения“ была применена на практике некоторыми недоучившимися джентльменами прибывшими в Крапивну из столиц, но так как у этих джентльменов не было ни средств, ни умения, то понятно, что их опыты потерпели крушение. Толстой стал писать богословские трактаты – подверг критике катихизис Филарета, написал критику Догматического Богословия м. Макария. Но религиозная жизнь моей православной родины мало соприкасалась с подвергнутыми Толстым критическому анализу творениями. Из катихизиса помнили лишь казавшиеся странными славянские выражения, а на большого Макария местные представители богословского знания смотрели как на такой бездонный кладезь мудрости, в который самое лучшее не пытаются проникнуть. У нас верили просто и с одинаковым равнодушием проходили мимо и нападений на веру и защиты веры. Не мог Толстой показаться и оригинальным, там, где не занимались догматическими тонкостями, богословские вопросы сводились к одному: есть Бог или нет? О том, что есть отрицающее Бога, крапивенцы знали с шестидесятых годов. Но Толстой никогда не отрицал Бога. А разбираться в том, как он Его понимает, как он представляет свои отношения к Нему, это казалось и долгим и трудным и бесполезным. Между тем, когда Толстой стал жить своею новою жизнью и писать свои богословские трактаты, он перестал совсем жить интересами своего уезда, он отошел от него. Новые занятия Толстого были чужды его окружающим; вот почему, когда он стал привлекать внимание мира, внимание ближних к нему ослабело. Но почему он привлек внимание мира? Самый простой ответ на это тот, потому что Толстой – мировой гений. А из чего видно, что он – мировой гений? Потому что он признан в качестве такового миром по большинству голосов. Для лиц живущих стадною жизнью и стадными инстинктами, этого объяснения достаточно, они всегда поклонялись и будут поклоняться тому, кому наиболее кланяются в данную минуту. Но одним из

беспорных достоинств покойного Толстого являлось его умение не заражаться настроением толпы и не следовать на буксире за её верованиями и симпатиями. Для Толстого Шекспир – ничто, произведенное случаем (похвалами Гете) в мировые гении, для Толстого ничто и иные кумиры мира. В его книгах для чтения воспроизводится сказка Андерсена о том, как мошенники обязались королю сшить платье, которое могут видеть только умные люди и как они не принесли ему никакого платья, но все, думая, что они не видят костюма лишь потому что не умны, восхищались невидимой одеждой короля. Король отправился по городу и все хвалили его платье, пока наконец один ребенок не закричал: „да он почти голый!“ И всем стало стыдно.

В настоящее время когда в европейском обществе ослабел культ святых людей, в нем усилился культ великих людей. Не строят церквей во имя подвижников Божиих, но называют улицы именами героев человечества. Не строят часовен святым, но ставят памятники великим. Это конечно, проявление того же религиозного инстинкта почитания, обращенного только совсем не на религиозную сферу. И так как инстинкт требует удовлетворения, то за отсутствием великих людей их нередко выдумывают. Я этим вовсе не хочу подсказать вывода, что Толстой – король без платья. Напротив, на нем очень много платья. Изучить то, что он написал, и оценить то, что он сделал, очень трудное дело. И настоящий момент крайне неудобен и неуместен для того, чтобы доказывать, что это платье – из плохого материала и дурного фасона. В настоящий момент, когда засыпается землею его могила, если о чем нужно вспоминать, то конечно о тех его делах, которые Божественным судом вменяются в оправдание.

Существенное обвинение, которое законно предъявляется к Толстому, состоит в том, что он – еретик и он – еретик не только по отношению к православию, от которого он давно отпал и к которому может быть постепенно приближался, он – еретик по отношению ко всем религиям и исповеданиям, еретик – по отношению ко всем существующим и даже проектируемым формам государственного и общественного устройства, еретик – в большинстве вопросов общежития, экономических, научных. Он – человек оппозиции. Но тяжесть этого обвинения значительно смягчается и парализуется тем несомненным фактом, что к этому человеку оппозиции приходили самые разнообразные люди и в числе их православные епископы и уходили от него не с чувством разочарования и раздражения, а, судя по их словам и заявлениям, с таким чувством, что между ними и Толстым как бы существует какая то нравственная связь.

Почему это? Я думаю, что к Толстому более, чем к кому-либо, можно приложить слова Гете, влагаемые им в уста Бога, оправдывающего Фауста пред Мефистофелем:

Der Mensch irrt, bis strebt.

Пока человек ищет, он блуждает. Толстой искал правды и блуждал. Но правды он искал искренно. Ни на минуту нельзя усомниться, что, когда у него возникало сомнение в существовании правды, он действительно протягивал руку к шнурку, чтобы повеситься, или к ружью, чтобы застрелиться. Но инстинкт жизни помешал ему покончить с собой и помог ему, если не увидеть свет правды, то по крайней мере ощутить мерцание некоторых её лучей достаточное для того, чтобы убедиться в существовании правды и оправдать жизнь. Толстой был искренним искателем правды. В этом его добродетель и его заслуга. Приходившие к нему люди, не могли не чувствовать искренности его исканий и каждый из них, понимая правду по своему, утешал себя мыслью, что вечно ищущий Толстой придет к его правде. Каждый о нем предполагал то, что некогда предположил Амвросий медиоланский об Августине. Когда мать последнего жаловалась Амвросию на отчужденность сына от христианства, на его блуждания и говорила о своих бесчисленных слезах, вызванных представлениями об ожидающей сына горькой участи, Амвросий будто бы сказал: „не может быть, чтобы сын стольких слез погиб“. И Августин действительно стал блаженным Августином, величайшим богословом эпохи. И при соприкосновении с Толстым видно получалось то впечатление, что не может быть, чтобы человек столь честных исканий не нашел того, что ищет. Но правды он не нашел. Неоднократно в жизни он протягивал свою десницу в ту или иную сторону и говорил: вот, что нужно. Иногда на этом нужном он останавливался подолгу, но ни на чем он не остановился навсегда. Последние дни его жизни свидетельствуют об этом. Уже десятилетия тому назад он заявил миру, что принимает слова Христа: „царство Божие внутри вас есть“ (Лк. 17:21). Он хотел сделать эти слова принципом своей жизнедеятельности. Все дело в том, чтобы наполнить свой дух любовью и миром. Но друзья и почитатели покойного мыслителя говорят нам о какой то переживавшейся им трагедии. Возникает вопрос: какая трагедия может быть вызвана земными нестроениями у того, кто смотрит на все sub specie aeternitatis? Однако трагедия была. И Толстой вопреки себе пошел искать царства Божия вне себя и вне своего дома. Отчего правда не открылась ему? Отчего небо не возвестило ему истины, когда он так жадно желал владеть ею? Ответ на это находится в Евангелии. Христос сказал: „славлю Тебя,

Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение“ (Лк. 10:21). Между правдою, которую искал Толстой, и Толстым стояло средостение, позволяю себе думать, значительно потерявшее крепость с годами. Толстой в своем искании правды слишком доверялся себе, слишком высоко ценил свои силы. В этом отношении является Толстой противоположностью другому искателю правды – Паскалю, очень рано выяснившему себе истину слови: „если не обратитесь, и не будете как дети, не войдете в царство небесное“ (Мф. 18:3). Толстой был художником, художники характеризуются непосредственностью и силою впечатлений и чувств. Толстой сильно доверялся своему непосредственному чувству. Молодой Толстой проповедывал культ эгоизма, он отвергал как нелепое учение о том, что ближнего нужно любить как самого себя. Он был для себя центром мира, могучее чувство личной жизни было в нем сильнее всего. Но вот – Толстой ищет счастья в женитьбе, происходит бифуркация эгоизма. Еще немного лет, и Толстой начинает чувствовать, что счастье – не в любви к себе, а – в любви к другим. Но чувство земной жизни, чувство пантеистически-материалистическое в нем еще сильно, он не чувствует нужды в высшем мире, ему довольно земли. И из учения о любви Нового Завета он тщательно выбирает изречения о любви к ближнему, также изречения, обличающие людей, которые заявлениями о своей любви к Богу прикрывают отсутствие любви к ближним. Но вот еще шаг вперед. Если любовь к себе недостаточна для того, чтобы быть блаженной, то потом такую же недостаточную оказывается и любовь к ближним, ибо ближние это тоже модификация моего „я“, также слабы, жалки и ничтожны. Любовь к ним соединяется с жалостью. Но блаженная любовь соединяется с благоговением. Достойным объектом любви является живой христианский Бог. К этому Богу и шел Толстой, но он слишком верил в свое личное умение находить верный путь и поэтому дело его приближения к Богу оказывалось таким медленным.

Я подчеркиваю однако, что его путь искания был путем приближения. Я сужу об этом на основании его слов и поступков. 20–22 февраля 1901 г. Синод объявил Толстого отпавшим от церкви. Для лиц, знавших православное вероучение и „*ma religion*“ Толстого, это было лишь констатированием факта. К числу таких лиц прежде всего принадлежал сам Толстой и однако он оскорбился этим определением, что и выразил в своем на него ответе. Но если православная церковь есть община, содержащая ложное учение, и если вожди её действуют во имя честолюбия

и своекорыстных расчетов, то по-видимому – чего же обижаться, когда община о человеке так ее трактуящем заявляет, что он к ней не принадлежит? Можно было бы только заявить: и не принадлежу и не хочу принадлежать. Толстой действительно заявил, что он не принадлежит к общине и выразил порицание тому, что община заявила об этом. Здесь – противоречие, источник которого, смею думать, крылся глубоко в тайниках души Толстого. Его резкие и кощунственные нападения на православие может быть были отчасти тем, чем было жестокое преследование христиан ап. Павлом. Толстой чувствовал, что он не прав, может быть, даже желая быть обличенным, он настаивал на своей правоте. Но убедительного для себя голоса обличения он не услышал. Не услышал со стороны, но может быть, этот голос заговорил в нем самом. Он становился все терпимее и терпимее. Мало этого. Своим посетителям он стал выражать сожаление, что в своих произведениях он оскорблял чужие верования и тем возбуждал вражду. Он постепенно примирялся если не с верою, то с верующими. Два года назад Толстого посетил Тульский епископ Парфений. Очевидец этого свидания говорил мне, будто Толстой встретил епископа словами: „благодарю вас за то, что вы не погнушались посетить отверженного старика». Слова Толстого дышали скорбью. Человек, к которому протягивал руки весь мир, почувствовал тоску о том, что какое то учреждение, которое он порицал, которое порицают и над которым глумятся и печатно и устно столь многие его почитатели, это учреждение только заявило, что Толстой не состоит его членом. Стоило ли горевать, стоило ли скорбеть об этом, не нужно ли было радоваться? Но Толстой не радовался. И когда перед самою смертью он стучался в ворота Оптиной пустыни, он снова назвал себя отверженным. Какой же он отверженный, если к нему с любовью и глубоким почтением были обращены взоры всего мира? Обстоятельства смерти Толстого вызывают на глубокие размышления и рождают много вопросов. Он умер как жил, не обыкновенно. Но почему у него, для которого был открыт весь мир кроме церквей и монастырей, предпоследними этапами на пути к вечности были Оптина пустынь и Шамардинский монастырь? Я думаю и не потому только, что мне так хочется думать, а на основании фактов, что в последние годы своей жизни Толстой почувствовал нужду в церкви, которую раньше объявил ненужной, и что это чувство росло в нем с приближением смерти. Мне будет очень прискорбно, если мое предположение окажется ошибочным, но пока я не вижу ничего, что бы его опровергало. Может быть это навсегда останется невыясненным. Уже давно мое внимание останавливалось на сходстве судьбы Толстого и

Вольтера. Если во второй половине XVIII века письма из Америки адресованные: „Европа, господину Вольтеру», уверенно направлялись в Фернэ, то во второй половине XIX и начале XX письма с адресом: „Европа, Толстому» также уверенно могли быть направляемы в Ясную Поляну. Теперь сходство открывается и в обстоятельствах их смерти. Вольтер покинул Фернэ и умер в Париже, при чем приводятся свидетельства, что он умер на пути к примирению с католическою церковью. Толстой, покинув Ясную Поляну, не достиг конечного пункта своего земного пути, но умер как бы тоже на пути к примирению с церковью. Несомненно, многие будут отрицать последнее, многие отрицают то же самое и о Вольтере.

Вольтер и Толстой считаются трибунами человечества. Но для нашей школы и особенно для моей кафедры, посвященной изучению и обсуждению человеческих мнений о Боге и Его правде, Вольтер и Толстой представляют главным образом интерес, как искатели религиозной истины. У них одни и те же руководители в деле этого искания: у Вольтера – английские деисты, у Толстого – те же деисты только через Руссо. Но Толстой в своих исканиях проявил несравненно больше искренности и нравственной высоты, чем Вольтер. Однако признавая это, нужно принять во внимание, что Толстому поступать так было гораздо легче, чем Вольтеру: жизненный путь последнего был далеко не так щедро усыпан розами, как путь Толстого.

Но оставим в покое фернейского мыслителя и обратимся к яснополянскому.

В своих религиозных и нравственных рассуждениях Толстой может сильно подкупать и также сильно отталкивать. Подкупает его непосредственность и искренность. Толстой безмерно прямолинеен, он не развязывает узлы, он их всегда разрушает. Он отрекается от клятвы, от мяса, от насилия. Но отталкивает от Толстого его самонадеянность. То, чего он не понимает, он всегда отрицает. Он встречается с догматом троичности, выражение троица в единице, $3=1$, представляется ему абсурдом и он очень легко и быстро кончает с верованием столь древним и так широко распространенным. Такое отношение к догмату не ново. В произведении, кажется, IV века „Филопатрис“ один просит другого в подтверждение своих слов поклясться троицей в единице. Собеседник отвечает: „я вижу под предлогом клятвы ты хочешь учить меня новой арифметике“. Для Толстого, как и для этого собеседника, новая арифметика стоит в противоречии с разумом. Но для лиц более долго занимавшихся проблемою вопрос этот далеко не так прост и ставится

иначе. Почему идея триадности была в вавилонской религии, почему она еще более развита в египетской, почему мы находим ее у дикарей бавили, наконец – лепа она или не лепа, почему она возникла, развилась и утвердилась в христианстве? Изучение генезиса идеи скорее определит её ценность, чем наивная проверка учения о Бесконечном теорией конечных чисел.

Толстой отрицал свободу воли. Ведь на самом деле это просто. Каждое явление должно, иметь причину, беспричинных действий не может быть, следовательно, не может быть действий свободных. Это он развивал еще “В войне и мире“. Впоследствии он развивал еще теорию, согласно которой свобода выбора возможна лишь в существах несовершенных, у существа совершенного отнята возможность выбора, потому что совершенное существо всегда знает, что лучше всего, и избирает лучшее. Получается, правда, несколько странный вывод, что кто наиболее глуп, тот и наиболее свободен, но Толстой прямолинеен и выводы никогда не смущали его. Толстой не обратил внимания здесь только на две вещи: во 1) на то, что понятие причинности далеко не просто и далеко не выяснено, во 2), что все его речи о человеческой несвободе стоят в решительном противоречии с его толстовскою свободою: чувство свободы и воля у него были гораздо сильнее, чем у многих. Толстой отрицал все чудесное. В этом отношении его взгляды совпадают с научным мирозерцанием наших дней. Несомненно научный дух эпохи сказался на нем гипнотическим образом, хотя он сам и не отдавал своих сил науке и не смотрел на нее с благоговением фетишиста, как на нее смотрят обыкновенно. Но ведь и человеку могучих нравственных сил не всегда удается избегать тех влияний, каких он бы хотел избежать. В данном случае к духовному климату эпохи сильно подходила и личность Толстого. Толстой – реалист: мистическое, загадочное, таинственное чуждо его душе. Затем рядом с чудом нередко стоит обман. Это – закон жизни. Около одного действительного святого всегда стоят десятки шарлатанов притворяющихся святыми. Но Толстой страшно горд. Он боится быть обманутым, особенно быть обманутым в самых высших и лучших чаяниях и надеждах. Толстой никогда не мог сказать: „тьмы низших истин нам дороже нас возвышающих обман“. Толстой хочет истины, которую он отождествлял с действительностью, чувствовавшейся им необыкновенно сильно.

Но его чутко художественную и нравственную натуру поражает правда Евангелия. Как быть? учение так прекрасно, но для него указывается сверхъестественный источник и основа и утверждается, что

без сверхъестественной помощи даже невозможно его осуществить. Толстой тогда решается произвести над Евангелием операцию, которую производили многие до него и многие будут производить потом, но при которой на самом деле угасает евангельская жизнь. Толстой отвергает начало (сверхъестественное происхождение Христа) и конец (воскресение) Евангелия и перерабатывает середину. Он принимает Божественное учение, но не хочет верить, что оно возведено Единородным Сыном Божиим.

Поучительно сравнить взгляды на Христа Толстого с взглядами другого искателя религиозной правды – Вл. С. Соловьева. И Соловьев и Толстой с своими искателями приходили в Московскую Академию. Соловьев слушал лекции в Академии. О Толстом мне рассказывал покойный профессор В. О. Кипарисов, что он посетил академических профессоров, но вышло что то как будто не особенно складное. Разговор должно быть не вязался. Покойный Кудрявцев спросил Толстого: „скоро ли вы нас подарите новым произведением, как «Война и мир» или «Анна Каренина»?“ Толстой ответил словами из послания Петра (2 Пет, 1:22): „я не хочу как пес возвращаться на свою блевотину“. Толстой, надо полагать, ушел из Академии неудовлетворенным, но напрасно он ждал, что профессора при первом свидании с ним и притом публично заговорят или поддержат разговор об интимнейших вопросах веры. Судя по некоторым данным и Вл. Соловьева в этом отношении на первых порах постигло разочарование. Но надо войти в положение представителей православной Богословской науки в России. Ведь, нигде нет стольких охотников поглумиться над православием и оскорбить эту веру и её представителей, как у нас. За границей к тому, что человек держится православных воззрений, отнесутся равнодушно или даже с интересом, но у нас дело обстоит иначе: в путешествиях, при случайных встречах и во многих и многих случаях у нас, памятуя слова Господа (Мф. 7: 6), лучше всего молчать о вере. Вл. Соловьев, имею основания думать, потом догадался об этом, догадался ли Толстой? Не знаю.

Но это – неважно. Важно другое. Соловьев выяснил себе, что религии нельзя выдумать, никакой „*ma religion*“ существовать не может, нельзя почитать самоизмышленного Бога, нельзя диктовать Богу условий с Ним сношения. Содержанием религии может быть лишь истина возведенная свыше. (Корень религии – в Божественном откровении. Можно отрицать существование откровения, но вместе с тем необходимо должно отрицать возможность всякой религии. Толстой отверг откровение, но не сделал этого необходимо следующего из его отрицания вывода. Теоретическое

Богословие Толстого – либерально протестантское. Там каждый Карл Карлыч выкраивает Евангелие по своему и создает своего собственного Христа, которого называет научным, историческим и противопоставляет его Христу веры (разумей: суеверия; из деликатности немец ставит: Glaube, а не Aberglaube). Описаний таких Христов теперь много. Все они скучны и безнадежны. Евангелие можно или принять или отвергнуть. Компромиссов здесь не должно быть. Но прямолинейный Толстой – великий враг компромиссов – в этом важнейшем для него деле, в святейшем своем искании пошел на компромиссы.

Соловьев, тоже переживший период сомнений и отрицания, не пошел на компромиссы, он принял веру своих отцов. И вот эти два человека: один, узнавший религиозную истину в церковном учении; другой – дошедший до религиозной истины своим умом, столкнулись в своих исканиях. И они стали врагами. (Толстой отзывался о Соловьеве, как о мальчишке в белом галстуке с распущенными волосами, болтающем вздор. Соловьев называл Толстого – неизменным Колумбом всех открытых Америк, намекая этим на то, что Толстой не создает, а лишь рекламирует возведенные до него взгляды и теории. Толстой превосходно знал жизнь, Соловьев совсем не знал её, он жил в эмпириях; Толстой не знал науки, Соловьев в этой области знал очень много.

Толстой необыкновенно сильно чувствовал наличную действительность, Соловьева окружающая жизнь едва задевала. И этим различием можно объяснять их различное отношение к жизни и различное решение вопросов морали. Для Соловьева наличная действительность не есть подлинная действительность, обыденная жизнь не есть действительная жизнь. Дух Соловьева постоянно обращался к горнему миру, который в его глазах и был подлинным живущим настоящей жизнью миром. Считая земной мир чем то в роде индийской майи, Соловьев легко мирился с его порядками и непорядками, он находил смысл в войне, уверял себя и других, что Пушкин и Лермонтов умерли своевременно. Толстой – охотник, рыболов, пахарь, косец, любитель всех наслаждений жизни – в наличной действительности видел подлинную действительность, в ней хотел устроить свое и чужое счастье, но для этого очевидно нужно вырвать из мировой жизни все плевелы и вырвать их немедленно и сразу. Нужно перестать делать зло, а это вместе с тем значит, что нужно и не противиться злу. Толстой извлекшей эти слова из Евангелия (Мф. 5:39) думал, что выразил в них всю сущность нравственного учения Христа. Но Христос, изгоняющий бичем храмовых торговцев, не подтверждает такого учения. Теория Толстого не

христианская, а до христианская. Насколько я знаю историю религиозной мысли, “мне представляется, что никто так блестяще ни развил и так полно не осуществил учения о непротивлении, как Лаотцы, живший веков за 5 слишком до Р. Х. Но для Лаотцы осуществить свое учение было несравненно легче, чем для Толстого. В то доброе, старое время легко было найти пещеру, которая была ничьею, реку, в которой всякий мог ловить рыбу, лес, рубка которого никому не возбранялась, и Лаотцы мог спокойно сидеть в такой пещере и иронизировать над Конфуцием, пытавшемся насаждать справедливость и порядок в государстве. Но теперь в Тульской губернии нельзя найти ничьей поляны и ничьего леса и нельзя там найти места, где бы человек был свободен от „повинностей“. С точки зрения Толстого исполнять эти повинности значит делать зло. Но как же не исполнять их, живя в государстве? От них можно освободиться, лишь живя *вне* государства. Тогда однако придется освободиться и от почты и от телеграфов и от железных дорог и от школ и от книг, в которых изложено учение мудрецов и раскрыта правда. Таким образом оказывается, что при попытках уйти от неправды придется потерять и дорогую правду. Как быть тут? Потерять правду Толстой не хотел и он старался лишь по возможности не соприкасаться с неправдою.

Толстой не мог не сознать, что выражения „не противься злу“ нельзя понимать буквально и комментировал это выражение – насилием, но во 1) кто уполномочил его сделать такое добавление и во 2) что под ним нужно понимать? Контекст Евангелия подсказывает очень простой смысл для слов о непротивлении: не противься злему человеку, когда он хочет у тебя отнять что-нибудь несправедливо, не противься ему, если он и осудит тебя. Но Евангелие не говорит, что такое непротивление должно быть безграничным, Христос взывает к великодушию человека, но не говорит: если тебя хотят зарезать, то подставь шею. И потом здесь идет речь о великодушии лишь к личным врагам, а не к врагам добра. Евангелие никогда не призывало быть великодушным на чужой счет. Моего соседа обокрали. Какую цену имеет мое великодушие к вору? Вот, если я скажу соседу: друг! я заплачу тебе вместо вора, не преследуй его, тогда я поступлю по евангельски, но если я откажусь осудить вора, т. е. откажусь заботиться о благополучии моего ближнего, тогда мое Деяние будет противно Евангелию, а не согласно с ним.

„Насилие“ – термин, который можно толковать различно. В одном житии рассказывается, как гнавшиеся за христианкой языческие преследователи спросили пастуха, куда она убежала? Пастух, зная намерение спрашивавших, указал на ложный след. Это должно было

спасти христианку. Спрашивается: хорош поступок пастуха или нет, сопротивлялся ли он злу насилием или средствами дозволенными – не скажу: Евангелием, но – графом Толстым? Для меня неясно, как Толстой должен бы был отнестись к этому поступку. Приведу другой пример. Человек в состоянии опьянения готов совершить убийство другого, к которому в сущности расположен, но на которого раздражился. Его насильно запирают. После некоторого времени он засыпает. Через несколько часов просыпается в здравом уме и твердой памяти. Ему рассказывают о случившемся и он искренно благодарит насильников, удержавших его от преступления. Для меня опять неясно, как нужно отнестись к этому факту по теории Толстого? Толстой своею формулой „не противься злу насилием“ хотел дать всеобщую норму нравственного поведения. Но как нельзя из олова получить всех металлов известных в химии, так в его формуле нельзя найти руководительного начала для большей части поступков. Его формула имеет некоторое значение, ею утверждается истина, что нельзя добра достигнуть злыми средствами или что цель неотделима от средств, ею отрицается принцип, что цель оправдывает средства, принцип царствовавший и царствующий в человечестве и совершенно неосновательно считаемый монополией иезуитов.

Но основной недостаток формулы Толстого тот, что ею не указывается, где корень зла, которому в конце концов, ведь, так или иначе нужно противиться. Христос указал этот корень зла в сердце человека. Толстой говорил о Соловьеве: „только теперь, когда он умер, я понял, как я его не любил“. Я думаю, что Толстой преувеличивал свое чувство недоброжелательства к Соловьеву, но за всем тем такое чувство, несомненно, было, и Толстой сознавал, что его нужно изгнать из души, как зло. Какую же помощь в борьбе с этим чувством могла оказать ему его формула? Я склонен думать, что Толстой питали недоброжелательство не к одному Соловьеву, он питал его к церкви, к духовным. Едва-ли он хорошо знал духовных, он превосходно знал два сословия – дворянство и крестьянство и, пожалуй, последнее более, чем первое, но проникнуть во внутреннюю жизнь духовных ему едва ли удалось. Как и профессора Академии при его визите, они не раскрывали перед ними своей души, они замыкались в себя, и они должны были казаться ему неискренними. Как и Соловьев, Толстой крайне отрицательно относился к Ницше. Это несправедливо уже, потому что парадоксы Ницше могучее орудие для возбуждения мысли и это несправедливо еще, потому что можно найти немало у Ницше такого, с чем в сущности согласен или Соловьев или

Толстой. В частности враждебное отношение к духовным общи у сына немецкого пастора (Ницше) и брата русской монахини (Толстого). Заратустра у Ницше в беседе с последним папою об умершем христианском Боге говорит: „Он умер... он был не по вкусу моим ушам и глазам, худшего я не хотел бы говорить о нем после его смерти. Я люблю все, что ясно глядит и прямо говорит, а Он... ты знаешь это, старый, в нем было нечто из твоей породы, из породы священнической. Он был более, чем двухсмысленен, а бывал Он и совсем непонятным. И как гневался Он за то, что Его дурно понимали. Но почему же Он не говорил яснее? Если это зависело от наших ушей, зачем Он дал нам уши, которые плохо слышат? Грязь была в ушах наших, пусть так! Но кто вложил ее туда? В том, что Он мстил своим творениям за то, что они были неудачными, в этом заключается грех против хорошего вкуса“. Эта короткая речь Заратустры есть резюме многих рассуждений Толстого. В ней и враждебное отношение к церковному учению и к людям „породы священнической“. Автор „восстановления ада“ пошел только дальше в проявлении своей вражды к церкви и её служителям. Назад тому приблизительно около 10 лет у Толстого как то летом было несколько студентов нашей Академии. Им пришлось обедать у него кажется, в слишком семейном кругу и Толстой по какому то поводу сказал им: „вы – соглядатаи из духовного мира“. Я думаю, что Толстой был прав. Студенты явились к нему конечно не за тем, чтобы развязывать ремень у его обуви и стать его беспрекословными учениками, они явились поглядеть на него, посмотреть, как он живет, узнать его поближе, явились к нему с тою же целью, с какою он десятилетия назад приходил к монастырским старцам. Но за всем тем слово „соглядатаи“ с пользою можно бы было не употреблять. Толстой в последние годы по-видимому сознал это, но едва ли его формула выяснила ему истину. Его отношение к духовным и церкви по-видимому изменилось. Об этом свидетельствуют опубликованные его письма к священникам проникнутые духом братолюбия и мира, об этом свидетельствует и вопрос обращенный к православному епископу: „за что церковь так ненавидит меня“? Вопрос этот наивен вдвойне: во 1) если церковь есть только человеческая община, то как же иначе, чем отрицательно, могла она относиться к человеку заявившему, что эта община вредна; во 2) церковь, как учреждение (я не говорю об отдельных членах) не только не проявила к нему ненависти, а официально призывала верующих молиться об его обращении. Но думается, что этот вопрос, вызванный может быть резким осуждением его деятельности со стороны некоторых членов церкви, возник у него тогда, когда в нем исчезло или по

крайней мере ослабело недоброжелательное отношение к православию. Но за что Толстой так сурово нападал на церковь? За то, говорил он и это подтверждают многие из его почитателей, что церковь извратила учение Иисуса. Но откуда Толстой или кто другой узнали о факте этого извращения? Нам отвечают: церковное учение не сходится с евангельским. Не будем оспаривать этого тезиса, но спросим: откуда же эти мыслители узнали евангельское учение? Увы, и Толстой и все они получили Евангелие от церкви. Почти два тысячелетия церковь хранит, бережет и предлагает каждому Евангелие, она не внесла в него никаких изменений, она не поставила ни одной йоты лишней в тех свитках, которые получила, как свое бесценное наследие, в первые века. Не соглашайтесь с церковным учением и пониманием Евангелия, это – Ваше право, но наша обязанность сказать следующее: если бы Евангелие было в руках Толстого или ему подобных, его давно бы не было. Пусть почитают перевод или изложение Евангелия у Толстого. Здесь полнейшая беззаботность по отношению к памятнику и греческому языку. Здесь видно желание представить, что дело было так, как его представляет Толстой, и что Христос понимал в общем нравственность так, как ее понял яснополянский мыслитель с тем, разумеется, различием, что последний, как несравненно более образованный, понял ее глубже и яснее и не уплатил дани суеверия своей эпохи. Церковь хочет понять и усвоить Евангелие, Толстой хотел его переделать. И переделка в данном случае является подделкой. Толстой не был первым и не будет последним предпринявшим это грустное дело. Им двигало самое благородное намерение – дать людям возможно простое и ясное учение правды. Но та Библия, которую сохранила церковь и которую переделывают теперь, учит нас, что не всякое осуществление благих намерений есть благо (2 Царств, 6: 6–7). Толстой отрицал, чтобы церковью людям, стремящимся к Богу, подавалась божественная помощь. Он и не хотел никакой благодатной поддержки. Он искал Бога без Бога. Может быть ему, человеку могучего таланта и тонкого вкуса, казалась недопустимой мысль, чтобы какие либо „попы» в их „нелепых» одеждах, стесняющиеся в обществе, явно чувствующие себя неловко перед ним и ему подобными, застенчивые, угловатые, знающие лишь семинарскую науку, живущие в нужде и погруженные в заботы о материальных нуждах, чтобы эти „попы» каким-либо образом могли удовлетворить его жажду к небесному. Вероятно, что отчасти это было так. Но хочется думать, что Толстым в его отрицании благодатной помощи руководили главным образом более высокие соображения. Он, обличавший нравственное ничтожество просвещенных в „Плодах просвещения“ и нравственную

низость непросвещенных во „Власти тьмы“, в тоже время идеализировал человеческую природу. В след за Руссо он повторял, что человек рождается совершенным. В след за Кантом он по-видимому верил в могущество нравственных сил человека. Евангельский закон есть естественный закон, и человек может и должен осуществить его своими естественными силами. Это требование, проистекающее из возвышенного взгляда на человека и поднимающее человека в его собственных глазах, должно сообщать ему прилив нравственных сил. Это так. Но на самом деле достаточно ли этих сил человеку для того, чтобы подняться над естественным порядком мира, где царят по пророку „рыдание, жалость и горе“, где homo homini lupus и где, по мнению натуралиста, считающегося величайшим в XIX столетии, господствует беспощадная борьба за существование? Толстой одобряет тезис Руссо, что дети являются на землю нравственно чистыми. В устах Руссо, не воспитывавшего своих детей, такое заявление не представляется странным, но неужели наблюдательнейший Толстой не заметил, что дети – здоровы они или не здоровы физически – всегда рождаются нравственно нездоровыми? Толстой говорит, что ненужно сердиться, ненужно раздражаться. Но прожил ли какой-либо младенец год на земле, не сердясь и не раздражаясь? Без сомнения, нет. Толстой говорит, что не нужно обманывать и притворяться. Видел ли он детей, достигших трехлетнего возраста и никогда не притворявшихся? Не думаю. Нет; не государственные системы, не религиозные учения склоняют человека ко злу, человек рождается с этою ужасною склонностью. Рядом с этим в человеке существует тяготение к добру и сознание, что нужно делать добро. Но за всем тем сила зла оказывается могучею и об этом особенно свидетельствуют те, которые посвятили свою жизнь на борьбу со злом – великие подвижники, аскеты, ибо бороться со злом прежде всего значит бороться с тем злом, которое находишь в самом себе, а не с тем, которое предполагает в окружающих людях. Люди величайших нравственных сил чувствовали себя слабыми в борьбе со злом мира и взывали о помощи к Богу, обращались к молитве и таинствам. Толстой не делал этого. Но за всем тем мне представляется, что лучшим и благороднейшим из его дел была борьба со злом, борьба с темными влечениями собственной природы, он хотел искоренить в себе все недоброе и проникнуться любовью к ближним. Насколько он успел в этом? На этот вопрос благоразумнее всего ответить словами Евангелия, которые часто повторял покойный: „не судите, да не судимы будете“ (Мф. 7:1). Не будем судить, чтобы не быть судимыми. Мы только от всей души и от всего сердца выскажем наши

надежды и наши желания.

Прежде, чем Толстой ушел из мира, он ушел из дома. Очень может быть, что близкие ему люди могут точно объяснить нам, куда, зачем он ушел, какие у него были планы и намерения? Но признаюсь, это не интересует меня. Мне чувствуется здесь нечто иное и нечто большее и высшее, чем земные помышления. Моя мысль обращается к прошлому нашей школы, мне вспоминаются светлые образы профессора Ф. А. Голубинского и ректора А. В. Горского. Незадолго перед смертью совершенно здоровый и относительно не старый Голубинский писал: „пора домой, не век скитаться“. Умиравший Горский вскакивал с постели и кричал, стремясь куда то уйти: „домой, домой“. Мне думается, что тот же инстинкт, который заставлял Голубинского и Горского рваться из этой юдоли скитаний, побудил и Толстого оставить дом, чтобы устремиться домой – к небесному Отцу. Теперь он – дома. Как встретил его небесный Отец?

Христос сказал: „кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет: а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится“ (Лук. 12:10). Не означает ли хула на Святаго Духа сознательного противления голосу собственной совести – голосу Божию в человеке и не говорят ли эти слова, что заблуждения относительно Сына Человеческого будут прощены, если они не вызваны сознательным противлением Божией правде? Возможны заблуждения и по добрым побуждениям. Если это так, то может быть: Сын человеческий, принесший Себя в жертву за человечество, не отвергнет Толстого, который хотел служить человечеству и любить его.

Содержание

С.Глаголев О графе Льве Николаевиче Толстом профессор Сергей Сергеевич Глаголев	1
--	---